

ГРИГОРИЙ Пожарный рассказ мне, как недавно позвонил к нему один из немногих уцелевших поэтов-фронтовиков: “Гриш, ты можешь ко мне сейчас перезвонить?” – “А что случилось?” – “А то, что мне уже несколько месяцев никто не звонит. Понимаешь, никто”.

Казалось бы, нет ничего общего с этим невеселым рассказом у такого, почти ернического четверостишия Константина Ваншенкина:

*Поразительно, как я не помер, –
Столько выпито за лето.
Набирая свой собственный номер,
Удивлялся, что занято.*

Но сквозь небрежно кирутую “шуточку” проступает боль. У Константина Ваншенкина одиночество неодинокое, что не отменяет горечи. Телефонного одиночества у Ваншенкина нет. Но важно не только то, что звонят или не звонят, а кто звонит и кто уже больше никогда не позвонит. Знаю это по себе. Стихи Ваншенкина продолжают печататься в наших лучших журналах, его лицо время от времени мелькает на голубых экранах. Но произошел хапок “законодательства литературных мод”. Быстроногие и быстрооперые самоназначенные законодатели беззастенчиво рекламируют друг друга, нападая на всех, кто вне их стаи. Такие законодатели не доросли до пушкинского определения “они любить умеют только мертвых”. Они завидуют и мертвым, и живым писателям, если тех все еще осмеливаются любить читатели. У самих этих законодателей плоховато со способностью любить людей и явно не все в порядке с читательской любовью к ним самим. Это тяжело простить. Зависть уксуса к шампанскому. С легкой циничной руки Виктора Ерофеева, тяжелой от сальериевских перстней с ядом, стая проводит поминки всей остальной литературы, закапывая живьем писателей не из стаи или в лучшем случае их игнорируя. Разрыв преемственности нравственно опустошает. Это видно на примере основоположника “поминализма” Ерофеева, не создавшего ничего равного хотя бы одному четверостишию из “Облака в штанах” Маяковского, над которым он всласть поиздевался в год его столетнего юбилея. Сарказм, издевочки, ухмылочки, стёб во времена цензуры еще выглядели как протест. Теперь, в распустином бесцензурье, оказалось, что для многих стёб – это не маска, а лицо, причем не очень интересное и к тому же злобноватое. Новый чернушный академизм монотонен. Коммунистическую безликость сменила безликость антикоммунистическая. Человеческое лицо снова на вес золота. Какая разница, включают или нет законодатели мод в свои рейтинги то или иное имя; если у имени есть свое лицо, то оно выживет. За именем “Ваншенкин” свое лицо всегда присутствовало. Ваншенкина иногда вообще забывали включать в рейтинги, но в народе его помнили, потому что невозможно забыть “Я люблю тебя, жизнь” в бернесовском чарующем полуречитативе или “За окошком свету мало” – чистую, как деревенский снег, песню, уже при жизни автора ставшую народной. Эту песню будут петь до тех пор, пока существует русский язык. Бессмертие при жизни. Но многие наши сограждане, поющие эту песню в своих

застольях, и зная не знают имени автора. Вокруг этого имени никогда не ломались копыя, автор никогда не был связан ни с какими политическими или литературными скандалами, и судьба его (на первый взгляд, если не вчитываться в стихи) сложилась вполне благополучно. Но несвязанность с шумихами не означает несвязанности с историей.

Сейчас мало кто помнит, как вошел в поэзию Ваншенкин. Напомню. Вот что я писал о послевоенном периоде в своей поспешной автобиографии, напечатанной на Западе и осыпанной издательствами на родине (1962 год): “Тиражи поэтических книг тогда зависели не от спроса покупателей, а от официального положения поэтов. Поэтому все магазины были завалены никому не нужными сборниками стихов. Покупались только “Строки любви” Щипачева и переиздания военной лирики Симонова. Простое трогательное стихо-

доровым (я восхищался тогда его строками о мраморе, горностаевым мехом сползавшем с плеч превращенной в скульптуру натурщицы). Но мне, скажу по секрету, тогда больше всего понравились стихи Алексея Кафанова о мальчишке, сделавшем бумажный кораблик из газеты. Мое детское воображение потряс политический поворот, казалось бы, нежно акварельной темы: “...а в той газете пышет злобный мистер Черчилль” (цитирую по уже почти полувековой памяти). Ваншенкин вглядывался в меня с недоверчивым интересом – не очередной ли вундеркинд?

таки женского рода, и братом быть не может”, – скрипучим голосом поверг в шок все партийное начальство времен “застоя” настырный десантник.

Но, поварчивая на “новеньких”, он все-таки присматривался к нам не с завистью, а с ворчливой добротой бывалого старшины и блестяще усвоил и развил технику ассонансной рифмы, считавшейся как бы фирменным знаком только нашего поколения. Помню, как Анатолий Зло-

виделись мы в основном на людях, полу на ходу, не спеша по очередным “делам” лишь на похоронах общих друзей. А общих друзей у нас умерло много. Умерла Инна Гофф – драгоценная подруга Ваншенкина, талантливая писательница, начинавшая со стихов. К семейным реликвиям она добавила написанную ею прекрасную песню “Русское поле” (музыка Френкеля), подарила мужу дочь-художницу, сохранившую искорку материнского таланта.

Умерли Винокуров, Колмановский. Не послушавшись Библии, Ваншенкин сотворил себе кумиров, но уж если сотворил – то был им верен. Такими были для него Инна, Бернес, Старостин... Ваншенкин всегда отличался постоянством и в поэтических вкусах, и в поварчивающей любви к людям. Но уже большая часть этой

Жизнь без любимой – как новый прыжок с парашютом – прыжок в пустоту, где есть только одно приземление – и тоже уже навсегда. “Что такое прыжок с парашютом? / Это пальцы разжавший Господь / Отпустил по неясным маршрутам / Наши души, а также и плоть”.

Ваншенкин никогда не стремился попасть в список “интеллектуальных” поэтов, составленный по доморощенной, отнюдь не интеллектуальной схеме, избегал зашифрованности, цитатности, щегольства эрудицией. Он не заигрывал с читателем, не подлизывался к нему, но хотел быть понятным и никогда этого не стеснялся. Это и есть черта истинных российских интеллигентов, а вовсе не высокомерный полуграмотный снобизм презрительного отчуждения от читателей, свойственный современным мародерам культуры. Пастернак, и тот признавался: “Всю жизнь хотел я быть, как все...” Так что, когда Ваншенкин, не лезучи в “русские интеллигентны”, горько говорит: “Вряд ли это мы...”, то уже само его сомнение доказывает то, что он, к счастью, ошибается. Насчет “повторности” своих стихов он вроде бы пошутил, но с достоинством: “Понятна истина сия: / В густых кустах и вдоль опушки / Разнообразие соловья / И повторность кукушки. / Он в душу бьет. Но и она / В душе затрагивает что-то, / Ошеломляюще сильна / Непредсказуемостью счета”. Такой непредсказуемой оказалась и эта книга Ваншенкина. Посмотрите, как он по-смеляковски силен в жанре русского портрета – хоть на выставку экспонируй – “Хмуро в булочной стоит – / Старый хмырь, ханыга, пешка, / Но неясно, что таит / Эта смутная усмешка. / Сам слегка навеселе, / И ковбоек помята. / Розовеет на скуле / Чья-то беглая помада”. А вот еще набросок с натуры: “Милый святой старичок / С нимбом чуть-чуть набочок, / С бегом крестящей рукой, / Маленький, добрый такой. / В нимбе чуть-чуть набекрень / Славит задумчивый день”.

Или профессионализм сохранил поэту такую чистоту зрения, или чистота сохранила профессионализм? А может быть, все это просто-напросто неразрывно?

Радостно и гордо от того, что в нашем деле остались, по выражению Межирова, “делатели ценности, профессионалы”, от того, что и на седьмом десятке можно писать настоящие стихи. Чувство горечи от недооцененности таких могикан русской рифмы, но, собственно говоря, недооцененности кем? Можно ли представить наших многих постоянных политических квартирантов телеэкрана с книгой в руках? С Баратынским, с Тютчевым? Спасибо, Константин Яковлевич, за сохранение чистотой и профессионализмом чувство собственного достоинства.

Еще кое-что о бессмертии. У Пастернака были такие строки: “Насколько скромней нас самих / Вседневное наше бессмертье”. Видимо, именно эти строки подхватил и развил Д.Самойлов: “Кто научил его томиться, / В бессмертье громкое стремиться, / В бессмертье скромное входя?” Ваншенкин в громкое бессмертье не стремился. А в бессмертье скромное вошел.

Евг. ЕВТУШЕНКО

Скромное бессмертие Константина Ваншенкина *Мст. гуг. – 1995. – 22 марта. – Р.З.*

творение молодого поэта Ваншенкина о первой мальчишеской любви, появившееся на фоне индустриально-колхозной поэзии, вызвало чуть ли не сенсацию”. Все газеты и журналы тогда были залиты половодьем рифмованной риторики. В это половодье и я добавил собственной газетной газировки с сиропом. Воспевательство доходило иногда до пародии: “Вот он, прищипчику махнув, / Остановил машину, / И, полушубок расстегнув, / Приспособленец вынул”. Это вовсе не Александр Иванов, а всерьез написанные стихи С.Фокина (производство. 1950 года).

“Гамлет” Винокурова и “Мальчишка” Ваншенкина были лирической революцией – возвращением к человеческой душе от лозунгов. “Легли на землю солнечные пятна. / Ушел с давчонкой рядом командир, / И подчиненным было непонятно, / Что это он из детства ухидил”.

Я чуть не отбил себе ладони, аплодируя на совещании молодых писателей в 1951 году этому стихотворению Ваншенкина, которое много лет спустя благодарно включил в антологию русской поэзии XX века.

С Ваншенкиным, недавно демобилизованным десантником, студентом Литинститута, я впервые встретился еще году в сорок седьмом, в Дзержинском доме пионеров. Мне, мальчишке в коротеньких штанишках, впервые выпала честь читать стихи вместе с “настоящими поэтами” – бывшими охранником Кремля, тогда не только вполне правоверным ленинцем, но и сталинцем Солоухиным (“А о Марсе мечтать – мы мечтаем о нем. / Коммунистам – и это не область фантазий!”), с художником Винокуровым, у которого светились следы свежеспоротых лейтенантских погон на офицерском кителе (“Я сяду у окна, не зажигая света, / И ошупью включу воспоминания”). Винокуров и Ваншенкин – совершенно разные поэты, которых лишь по привычке к “обоймам” стали объединять критики, на фоне общей риторики отличались конкретикой, вещностью реального мира. “Вы умеете скручивать плотные скатки? / Почему? Это труд пустяковый!” – Е.В. “А я гремел оконным шпингалетом, / Похожим на винтовочный затвор”. – К.В.

А еще на том вечере я познакомился с удалым морячком Иваном Ганабиным, романтиком бескозырок (“Ленты выются, ленты выются, / на ветру колышутся”), с будущим моим литературным “врагом” Василием Фе-

потом я виделся несколько раз с Ваншенкиным в редакционной приемной “Нового мира” у литконсультантки Ольги Ивинской. Мы, конечно, и представить не могли, что эта русококая мадонна с папирской, зябко кутающаяся вальжанные плечи в оренбургский белоснежный платок, станет впоследствии (а, может быть, уже стала тогда?) музой Пастернака. В приемной я полушепотом обчитывал Ваншенкина своими стихами. Настроен он был ко мне с доброжелательным скепсисом, но похвалил строчку “Кашку слопал, чашку обпол”, не подозревая того, что я ее восхищенно слямзил из слышанной мной на станции Зима частушки. Я писал тогда невероятное количество безвкусных броских стихов, а вот у Ваншенкина ни безвкусицы, ни спешливости не было никогда, хотя порой проступала укачивающая тщательность. Это были неторопливые стихи-посиделки. Они порой казались скучноватыми в то время, когда в литературную моду входили стихи-пощечины, стихи-речи, стихи-заклинания, стихи-ярмарки.

Температура его поэзии была слишком нормальной по сравнению со стихами, разносящими градусники, как взбесившаяся ртуть. Ваншенкина ценили и Твардовский, и Мартынов, и Смеляков, но тем не менее в сознании некоторых читателей его имя было притенено именем более очевидного, эрудированного Винокурова, ставшего признанным “мэтром”, а потом их обоих несколько заслонило от читателей ворвавшееся на эстрады и площади наше, более шумное поколение.

Оно не могло не раздражать неторопливого Ваншенкина своей подозрительно легкой мобильностью, и однажды он меня справедливо отчитал за комплиментарно-поверхностную статью о его стихах. (Не отчитает ли и сейчас?)

Ваншенкин и Маяковского однажды публично отчитал, обратив внимание ошеломленной аудитории на глупость следующих строк этого гениального поэта: “Партия и Ленин – близнецы-братья”. “Простите, но партия – существительное все-

бин, прочтя по памяти стихотворение, где было зарифмовано “мать-и-мачехи” и “математики”, лукаво спросил меня, кто автор. Я, грешным делом, подумал, что это или Белла, или Андрей. А это был Ваншенкин. Посмотрите, что может сделать рифма, если она со знаком качества: “Кончалось лето. А эстонка – / Знать, что-то в голову взбрело, / Выхаживала аистенка, / Что повредил себе крыло. / Я вспомнил старую башкирку, / Которая, как двух внучат, / Из сумки войлочной за шкуру / Вытаскивала двух волчат”. Но больше всего Ваншенкин вобрал, пожалуй, от смеляковской поэтики. Это не версификаторство, которое сам Ваншенкин беспощадно приговоздил: “Ваш интонационный разбой / Есть неосознаваемый разбой”. Это корни, без которых нет ветвей. А сам Ваншенкин – из корневой системы нашего поколения. Чьи же корни мы сами? Если сегодняшнее поколение рубает по нам, желая от нас отделаться, не засохнет ли оно само? А мы – мы все равно дотянемся хотя бы через одно или даже два-три потерянных традициями поколений к иному поколению – воскресителю традиций. Его не может не быть. Нет литературы без традиций, как нет леса без земли под ним.

Традиционалист Ваншенкин написал несколько новаторских по форме шедевров, и среди них “Женька”, тоже включенная мной в антологию. Некоторые ваншенкинские строки, прочтенные однажды, запоминались сразу и навсегда: “Но остается горестная метка. / Так на тропинке узенькой в лесу / Товарищем оттанутая ветка, / Бывает, вдруг ударит по лицу”. Многие стихи Ваншенкина жили во мне все эти беспорядочные годы как составная часть биографии, моей души, хотя



любви постепенно оказалась адресованной в тот мир, куда может дотянуться только благодарная память.

Когда недавно я прочел новые стихи Ваншенкина в “Знамени”, у меня горло перехватило от их обнаженного трагизма: “Разминулись на миг у причала. / Прибегала опять и опять. / Среди живых его не отыскала / И среди мертвых пустилась искать. / В том краю все довольно похоже. / Шла, в душе его облик неся. / Но и там не нашла его тоже, / А хотела вернуться – нельзя”. Потом я внимательно прочел последний сборник Ваншенкина “Ночное чтение”. Это прекрасная книга, обладающая исповедальностью дневника и строгой краткостью молитвы. Стихотворение переливается в стихотворение. Обычная ваншенкинская сдержанность вдруг оказалась беззащитностью. Оказалось, что Ваншенкин – сильнейший лирик с особым, любовным реквизитным даром.

“Там, в отдаленной жизни сладкой, / Что как растаявший дымок, / К тебе с вопросом или с лаской / Я поворачиваться мог”. “Только любовь / Верит в загробную встречу”. “И на меня с тех пор обрушась, / В душе стократно повторен / Весь этот беспредельный ужас / Предпервомайских похорон”. “И пострашней воспоминанья / И Страшного Суда – / Безжалостное понимание, / Что это навсегда”.